

Александр Андрюхин

Особенности абсолюта

тринадцатая книга стихов

Эта книга была начата в 1997 году, но автор вскоре перешел на прозу с намерением больше не возвращаться в поэзию. Однако через двадцать семь лет поэт продолжил заброшенную работу. Костяк тринадцатой книги стихов московского поэта Александра Андрюхина составляют философская лирика, написанная в 2024-2025 годах.

ОСОБЕННОСТИ АБСОЛЮТА

Ни абсолютной жизни нет,
ни абсолютной смерти.
Что скажешь нового, поэт,
для этой круговерти?
Что вспомнишь древнего, мудрец,
из Ветхого Завета,
что абсолютен лишь конец?
Но вряд ли правда это.
Кто скажет, где он, наш причал,
не будучи корыстен?
Но абсолютных нет начал
и абсолютных истин.
Ни абсолютного огня.
ни абсолютных знаний,
ни абсолютного меня,
ни всех моих страданий.
Ничто не вечно под луной,
ничто не абсолютно.
Пути размыты за спиной,
и впереди все мутно.
Зачем горишь тогда, поэт,
за что, мудрец, страдаешь?
Да все за тот же горний свет,
который не познаешь.

ГЛУПЕЦ И МУДРЕЦ

Глупец пытается весь мир
подделать под себя.
Мудрец в струящийся эфир
вживается, любя.
Глупец на жизнь всегда ворчит
и морщится на свет.
Мудрец без усталости твердит,
что света краше нет.
Глупец звереет от всего,
что свято для людей.
Мудрец же счастлив от того,
что слышит смех детей.
Глупец к чинам благоволит,
к сословиям в роду.
Мудрец за все благодарит,
за радость и беду.
Глупец всецело служить
спешит без никаких.
Мудрец желает просто жить
и радовать других.
Глупца оковы крупных сумм
толкают в пустоту.
Мудрец откликнется на ум,
а ум — на доброту.
Глупец в доме своем живет,
мудрец — во всей земле,
мудрец из света вечность вьет,
глупец смердит во мгле.

МЫСЛИ В НОЧЬ

Уж первый час, пора бы спать,
а мне не спится.
Мой чай остыл, на сердце гладь,
пусты страницы.
Из крана каплет. На душе
опять дождливо.
Мне даже некому уже
сказать: «Счастливо!»
Бежать! Душа еще горит
и просит действо.
Но как доверчиво сопит
мое семейство.
Что в этой жизни нас ведет,
а что низводит?
Но замер свод, и сон нейдет,
и жизнь проходит.
Да кто же (знать нам не дано)
нас за нос водит?
Проходит все на свете, но
к чему приводит?
Мне сорок лет и сорок зим,
а я — не Цезарь.
Я глуп и нищ, и нелюбим,
к тому же — бездарь.
Уж первый час, пора бы спать,
в душе не звёздно.
Бежать! Сначала все начать!
Да слишком поздно.

ВО ЛЖИ

Я лживых не люблю,
хоть сам я лгу безбожно,
предчувствуя тревожно,
что снисхожу к нулю.
Все ложь на свете! Что ж
так голова кружится?
Когда ж успел я вжиться
в сей мир, ценою в грош?

Здесь нужно лгать и власть
блюсти людских устоев,
чтоб в лежбище изгоев
до срока не попасть.
Крутиться и юлить,
не помня о Всевышнем,
чтоб ни себе, ни ближним
страданий не чинить.

И дураков терпеть,
и притворяться глупым,
чтобы однажды трупом
не лечь под чью-то плеть.
Играть пустую роль
в бездарной этой пьесе
и тупо в желтой прессе
жевать «бытухи» соль.

Ей Богу, только ложь
сей жизнью этой правит.

Что день грядущий явит? —
Живешь — пока ты лжешь.
Живу, пока могу,
(кровь застывает в жилах)
и, ненавидя лживых,
я сам безбожно лгу.

ЧААДАЕВУ

А захочу одиночества, выйду
ночью из дома, отправляюсь на пруд.
Звезды мерцают в нем. Тетку Фемиду
даже узнаю средь звезд этих тут.

Скучно зевну и, душой не оттаяв,
тихо припомню всю горечь утрат.
Все это видел я, брат Чаадаев,
кажется, пару столетий назад.

Хоть проживи еще вечность на свете,
будет все так же у нас на роду —
те же все пяди во лбу, и в Совете
те же все бляди, и звезды в пруду.

Мысли все те же, и та же в них вялость,
души, что затхлостью заволокло.
Тут ничего никогда не менялось,
и ничего никуда не текло.

В прошлом тоскливо, в грядущем туманно.
Пруд. И в пруду без движенья вода.
Кстати, живем мы действительно странно —
правда, не странней, мой друг, чем всегда.

Словом, печально. В усталые ноздри
затхлость вползает под лунную сень.
Те же в пруду затонувшие звезды —
с бреднем пройти бы, да как-то все лень.

НЕ СОГЛАСЕН

К незатейливой пище и дешевой одежде
и к бэушным авто я привык.
Только я никогда не привыкну,
хоть режьте,
что любовь — это грезы и пшик.

Будет ночь, будет утро,
и день будет красен,
будет свет и простор в небесах.
Верю, все будет классно!
С одним не согласен,
что любви у людей нет в глазах.

Что опять с нелюбовью жара и прохлады
в городок наш вползают с утра,
а в толпе ни единого теплого взгляда,
а на улицах все как всегда.

Снова вечером горькую
пить мне без тоста,
звать на помощь постылый хорей.
Нищету и лишения мне вынести просто,
нелюбовь же снести тяжелей.

Пусть повсюду глупцы, подлецы,
бандар-логи,
что по мелочи могут прибить.
Тяжело среди тех, чьи так души убоги,
но куда тяжелей не любить.

СДЕЛКА

Когда отпускали мой будущий прах
на эту планету из звездной юдоли,
спросил меня дед в чародейском хитоне:

— Что с даром своим ты воздвигнул в мечтах?

— Коль дар что-то стоит, то стою и я, —
ответил я старцу, — а если я стою,
уверен, не должно мне знаться с нуждою,
хочу, как Алкей, полной чаши края!

— Логично, — лукаво кивнул чародей, —
нагрезил небось кучу денег и славу,
удачи, победы, поклонниц ораву,
супругу красавицу, умных детей?

Устроим! Твой дар в целом стоит того.
Получишь, что хочешь с рожденья и даром,
но только любви не ищи с Божьим даром,
поскольку не сможешь любить никого.

Вскричал я:

— О нет! Мне такой не готовь
невзрачной судьбы, и твой дар ненавистен!
Пусть я предвестник космических истин,
но вместо всех истин я выбрал любовь.

— Не я тебе дал этот дар, и не мне
его отбирать у тебя, — с укоризной
старик произнес, — ты его в прошлой жизни
трудом заслужил, словно чин на войне.
Что хочешь, мой сын, за любовный лишь миг?
Согласен прожить без богатства и славы?

— Согласен! — кивнул я. — Не надо халявы!

— Тогда по рукам! — рассмеялся старик.

НАМЕРЕНИЕ

Хорошо проснуться в пять —
все на свете мило дремлет,
тишина сопенью внемлет,
на душе ни дать, ни взять
вновь безоблачно, внутри
мир без распрей и безумий.
Разум требует раздумий,
сердце требует любви.

Хорошо проснуться в шесть —
бездна времени о вечном
поразмыслить в вихре скечном,
уяснить про стыд и честь.
Час поерзать, вороша
дней прошедших пепелища.
Телу требуется пища,
вишней требует душа.

Хорошо проснуться в семь,
пусть с весьма помятым ликом.
Поздно думать о великом,
и взывать к порывам лень.
Мировой огонь в крови
разжигать весьма курьезно —
поздно, батенька, все поздно,
кроме, разве что, любви.

ДУША

Душа обязана светиться,
гореть, метаться, птицей биться.
О нет! Ей с плотью не ужиться —
лениться склонна наша плоть.

Душа обязана дивиться
всему вокруг, а плоть — трудиться
без выходных, чтоб прокормиться,
и чтоб снобизм свой побороть.

ДВЕНАДЦАТОЕ СЕНТЯБРЯ

Ветренный день. Суббота.

Двенадцатое сентября.

Шесть миновало лет, а кажется — шесть веков
с дня нашей свадьбы.

Милая, помнится ради тебя
я, одурев в тот день, отказывался от стихов.
Шелест листвы. На редкость не хмурое утро.

И в нем

символ всей нашей жизни, которая все течет.

Как одиноко мы жили все эти века вдвоем.

Все утекло. Твой взгляд теперь похож

на банковский счет.

Ветренный день в рябинах.

За окнами кадилак.

Давят стихи на шею с тяжестью наглой слона,
что оказались не тем, отчего отказаться так
просто, как, например, от женщин,

иль от вина.

Сын наш зовет гулять в сады,

где оборвано все давно.

Я после сна, в котором уж тысячу лет война.

Я потерял границы меж явью и сном. Одно
в памяти, что сегодня двенадцатое сентября.

Я не могу без вас, но и с вами пойти в сады
я не могу.

Стихи застилают мне этот не лучший свет.

Знаю, что канем куда-то: и сын наш, и я, и ты:
жизнь, ведь она на миг,

и только стихи — на век.

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

Мои причуды сеять рифмы
и заключать в размеры мысли
не приносили ближним счастья
и дальним радость не несли.
Меня терпели в этой жизни
лишь за характер мой беззлобный,
а Божий дар не замечали
ни в перспективе, ни вблизи.

Мне попадались, словом, люди
не поэтического склада.
Для них я был как чужеземец,
а то и более — кретин.
Средь человеческого стада,
что измеряется в миллиардах,
я с пацанячества доньше
всегда один, всегда один.

Но видит Бог, как я старался
вживаться в суетность и бытность,
в земные страсти с головою
бросаясь с резвостью блохи.
Но как бы ни было, под вечер
я снова слышал зов глагола,
и в сотый раз под брань семейства
садился смирно за стихи.

А жизнь все больше нагружала
меня заботами, и это,
должно быть, было наказаньем

за то, что я не дорожил
ничем на свете, кроме этих
четверостиший на бумаге,
в которых истинная сущность,
в которых истинно я жил.

ГОДЫ

Так быстро весна пролетела,
что я не успел и влюбиться.
Шныряешь в каких-то заботах
без перла в башке из Завета.
И некогда брэнному телу
дать отдых в какой-нибудь Ницце,
и вязнешь, и вязнешь в болоте,
и нет никакого просвета.

Разбилась любовная лодка
о быт по классической схеме.
Все менее тянет влюбляться,
а следом — казнить по Линчу.
Утешит единственно водка,
да ангел попозже в Эдеме,
и самое время спиваться.
да сложно с финансами нынче.

Июнь на исходе, а следом
и лето пройдет — не заметишь.
и все без любви и погоды
той самой, где ветры по Норду.
Все больше внимаешь аскетам,
все меньше желаньями гредишь.
Куда улетаєте годы?
Да, видно туда же все — к черту!

НАСЛЕДСТВО

Когда отправлюсь в лучший мир,
что я оставляю в худшем мире? —
Тоску по горней жизни в лире,
что очищала тут эфир.
Оставляю тягу к доброте
и к чистоте такой далекой,
к любви божественно-глубокой,
что не ценима на Земле.
Еще, должно быть, славу я
оставляю тут до погребенья,
но главное — свои стремленья
к познанию истин бытия.
«Бог с вами, люди, — я скажу, —
примите труд мой бесполезный!
Не знаю, свидимся ль за бездной,
а тут — уж вряд ли. Ухожу...»
Когда же сердцем отдохну,
в долинах звездных, то обратно
я попрошусь, но, вероятно,
уже иную быль вдохну.
Иное племя в оный час
латать земные будет свищи.
Оно возвышенней и чище,
и справедливей будет нас.
И света больше будет в них,
честней и человечней лица.
И будет в том моя крупица
наследства помыслов моих.

СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ

Как же достали дорожные штрафы!
Стоит лишь влиться в движение машин —
в личку летит, как на крыльях люфтваффе,
что скоростной превышаю режим.

— Кто вы такие? — ГАИ вопрошаю, —
боги ли, судьи, опричники дня?
Это, инспектор, не я превышаю,
это душа так уносит меня.

Сколько веков скоростей этих ждали,
сколько кричали прогрессу «виват».
Если так сзади бездарно отстали,
это не значит, что я виноват.

Кто ограничил с убожеством вражьем
наши порывы пуститься в полет?
Как вы режимом своим черепашьим
нас задолбали, летящих вперед!

КВАРТИРНАЯ ПЫЛЬ

Оскорбленного и униженного
добивать уже можно без мук.
Все, что было во мне возвышенного,
ты под свой затолкала каблук.

Незлобивого и податливого
так легко разменять на рубли.
Все, что было во мне талантливое,
утонуло в квартирной пыли.

ТЕНИ

Когда супруги, набравившись
под звон летающих тарелок,
уснули детворе на радость
и всем соседям за стеной,
от тел их спящих оторвались
две деликатнейшие тени
и, взявшись за руки, сквозь стену
прошли и встали под луной.

— Прости, что грубым был, —
сказала
мужская тень, — и даже волю
давал рукам. Таков хозяин —
ему я должен подрожать.
Когда умрет он, и смогу я
от плоти больше не зависеть,
клянусь луной, что от меня ты
одну лишь ласку будешь знать.

— И ты прости меня за низость
моей хозяйки, — тень другая
произнесла, смахнув слезинку,
что проблеснула, как слюда. —
Когда отпустят нас на волю,
и мы взлетим с тобою к небу,
давай не будем опускаться
до этих чудищ никогда.

— Да-да, конечно, безусловно, —
мужчина выдохнул и плечи

своей супруги утонченной
осыпал лаской без числа.
Так ночь прошла. А утром тени
с лучами утреннего солнца
с уныньем каждая покорно
к своей утробе поползла.

ТЕЛО

Пришел мужчина к женщине, она
все поняла без слов и молча в спальню
прошла покорно, как в исповедальню,
легла в кровать, не выпивши вина.

Легла послушно, угадав на сто,
что гостю слов не нужно, как и, впрочем,
высоких чувств, которыми клокочем,
но выбираем тело если что.

А тело пышет и со стоном ждет,
чтоб с чувством мяли, чтоб ласкали бодро,
чтоб в ребрах хруст, чтоб ощущали бедра
ладоней распаленных огнем.

Но все прошло без рук и синяков
на ляжках, — чуть разделся, как Емеля,
слегка прилег, не выпустив портфеля,
чуть обмочил, зевнул и был таков.

Ушел к жене, с кем рай и без «Порше».
А женщина вино достала к спарже.
Но сколь ни выпей хереса, все так же
херово на истрепанной душе.

Душа — не тело. Тело не вини!
А для души — налить в бокал и плакать
и счастьем грезить, и слезливо вякать:
— Какие всё же сволочи они.

ПОДРАЖАНИЕ ЦВЕТАЕВОЙ

О вы, чьи розовые попки
напоминавшие мячи,
чьи взгляды ветрены и робки
как пламя огненной свечи,
чьи в кружевах чулки и лифы
низводят все до па-де-де,
очаровательные нимфы
из варьете!

Как преуспели вы в искусствах
пленять юнцов и молодцов,
глупцов отчаянных, и в узах
отцов семейств, и наглецов.
Одной улыбкой вам подвластно
пустить святошу на порок,
на подвиг — труса, ловеласа —
лобзать сапог.

Очаровательные крали,
без вас дороги в никуда!
Вы в номерах белье теряли,
за ними честь, но никогда
очарованья. И до гроба
вам грех не будет здесь воздан,
пока округлы ваши бедра
и тонок стан.

В любви, и в дружбе, и в монете
познал я истины чертог.

Я сотню лет прожил на свете,
а вы все те же, видит Бог.
Все те же глазки, и кудряшки,
чтоб вечно голову кружить.
Без вас, мои очаровашки,
на кой мне жить?

КАВАФИСУ

Как ты прав, как жестоко ты прав,
Константинос Кавафис,
про мой город, что вечно
преследует в тапочках старых.
Но когда соберусь за моря,
в Голливуд, или Давос,
навсегда затеряюсь в барделях,
кофейнях и барах.

И никто не отыщет меня,
даже дьявол с радаром,
и никто не напомнит, кем был
и откуда я родом,
лишь мелькать будет мысль,
что проносится жизнь моя даром,
и ночами мне дом будет сниться
с пустым огородом.

И на дальней чужбине.
не вымучив даже сонета,
я пойму, что судьба для того и дана,
чтобы вечно с ней спорить.
Убежать от судьбы — это значит,
в себе уничтожить поэта,
что был брошен в дыру,
чтоб стихами ее обиходить.

ОТЪЕЗД

И снова в бродяжьей среде —
вокзальные запахи, звуки.
На шее горячие руки,
слезинка дрожит в бороде.
Все худшее там уже, сзади,
как, впрочем, и лучшее. Кстати,
бродяг распознают в беде,
любовь распознают в разлуке.

Простились. И вновь не в ладах
с собой. В мятежах и метаньях
душа — как же тесно ей в зданьях,
в конторах, в больших городах,
среди зомби людского без лика.
Им сроду не знать горемыкам,
что жизнь познается в трудах,
душа познается в страданиях.

Но тронулись. Ты теперь где?
На тамбурных стеклах движенье.
Судьба познается в лишениях,
а свет познается во тьме.
Что тьма нам в грядущем готовишь?
Зря стонешь, ведь сколько ты стоишь,
познаешь на Страшном суде,
а суд познается в прощеньях.

ВАНИНСКИЙ ПОРТ

Забросит же судьба! Зачем?
Здесь солнца нет, и небо с морем
не разделяются ничем —
на это скажешь лишь:
— I am sorry!

Природа, словно часть тюрьмы, —
свинец лишь может намагнитить.
Но вид таков, покуда мы
так видим и хотим так видеть.

Тоска и серость Колымы,
деревья чахлые, кривые...
Жизнь такова, покуда мы
в ней таковы и таковые.

Слепы здесь дали и немые.
Где вы, просторы голубые?
Но мир таков, каков в нем мы,
а мы — немые и слепые.

ПОДРАЖАНИЕ ЛЕРМОНТОВУ

Прости, мы не встретимся боле,
а если и встретимся, снова,
увы, не сплетемся, как пара
(не помню, каких уже) змей.
Без слез, сожаленья и боли,
без взгляда и доброго слова
навек простимся у бара
и в лона вернемся семей.

Прости, я уеду в столицу
ловить журавля, а возможно
останусь тут чахнуть, но это
не важно, а важно, что наш
презренный союз уже длится
не будет так зло и безбожно,
и больше судьбе уже слепо
не сделать безумный вираж.

Прости, мы по разным трамваям,
как будто по разным каретам,
с тобой разлетимся и мнимо
растает средь толп и шараг.
Мы в мире ином не узнаем
друг друга при встрече, а в этом —
пройдем, как положено, мимо,
ускорив усталый свой шаг.

БАВИЛОНСКАЯ БЛУДНИЦА

Ты была вавилонской блудницей,
а я был иудейским странником.
Я пришел в Вавилон, чтобы праведность
проповедовать на площадях.
Но когда наши взгляды встретились,
и друг к другу зверьми мы кинулись,
я забыл, что такое истина,
задыхаясь в твоих сетях.

Сорок дней и ночей насытиться
не могли мы, хрипя от жадности,
на лежанке сплетались змеями,
и давили телами мух.
А на площади башню строили
в знак победы земной материи,
в знак победы страстей над душами
и в насмешку, что умер дух.

И когда я очнулся в ужасе,
измочаленный весь, изношенный,
обездушенный, небом брошенный,
оскопил, что в себе взрастил,
и с мольбой на колени бросился,
и катался в слезах я по полу,
и просил, умолял я Господа,
чтоб когда-нибудь Он простил.

Сто веков я себя отмаливал,
сто веков я тебя вымарывал,

сто веков я скитался без вести
в самых черных из всех миров.
Божий свет, что мне дали сызнова,
вынес в мир я с почтенным трепетом.
Но когда мы повторно встретились,
понял я, что погибну вновь.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ЗВОНОК

— Где ты есть? — прозвучало из трубки.

— А меня нет нигде, — отвечаю.

Мне ли врать? Я искал себя тщетно,
столько сил разбазарил и лет,
но себя не нашел, и доньне
бьюсь башкой, и ношусь, как косуля —
и башка вроде есть, и рассудок,
даже — сердце! Меня только нет.

Как взлечу без себя я на небо,
что скажу одинокому Богу:
как себя потерял я, в какую
из эпох, на какой из планет?
Все металось, неслоь, убегало,
потрясало, рвалось, воскресало,
все сбывалось, и в руки все плыло,
руки вот! И меня только нет.

Что за жизнь (сокрушаюсь) в которой
ты теряешься словно соринка?
Ладно б только семью и отчизну
потерять, или дом и авто.
Снова слышу из трубки:

— Не понял!

Где сейчас ты? Алло! Не расслышал!

— Нет нигде, — повторяю, — а кто ты?

И ответила трубка:

— Никто!

ОДИНОЧЕСТВО

Я так привязан был к друзьям,
когда-то с ними пил,
был осиян и там, и сям,
и был со всеми мил.

Теперь не мил, и пью один,
глухой, как баобаб,
и сам себе я господин
и сам себе я раб.

Сиротский выпал мне билет
ничьим быть, как изгой.
Зато могу за столько лет
побыть самим собой.

Копаться в мыслях, как ботан,
сомнения рождать.
Зачем мне дар такой был дан,
о смысле рассуждать?

Не пожелаешь и кроту
столь беспросветный фант.
Но стал ценить я доброту
сильнее, чем талант.

В какой-то день, в какой-то час
поймем и сохраним,
что все пути приводят нас
лишь только к нам самим.

НА МАРАСЕЙКЕ

На Марасейке моросит,
и моросит уже годами.
Туман чахоточный висит
над головами и зонтами.

Сереют здания. Виски
седеют. Кашель не смолкает.
Чахотка — это хворь тоски, —
так теософы полагают.

Бреду один, совсем ничей,
гляжу на девушек красивых,
плывут авто, течет ручей
из лиц случайных и счастливых.

Роятся мысли, как у пня
в сыром лесу роятся мошки.
Здесь все счастливее меня,
а мне не выпало и крошки.

Вчера роман свой одолел,
сегодня, стало быть, свободен.
Себя сжигал я, не жалел —
наверно скоро буду моден.

И моден буду, и велик,
и сразу стану всем нужнее.
Но мода — это только миг,
а вот с величием сложнее.

Теперь автографы чиркать
могу я праздному народу,
могу я прыгать и кричать,
и вякать что-то про свободу.

Но не бегу, и не кричу,
поскольку через день по ходу
очередной роман начну,
чтоб в нем увязнуть на полгода.

Не потому, что так хочу,
не потому, что над Парижем
фанерой новой полечу,
а просто выхода не вижу.

Ведь только в книгах на куски
и рву себя во тьме великой.
Чахотка — это хворь тоски
и недосказанности дикой.

С ИЗВЕЧНОЙ ВИНОЙ

Жить с вином веселей, чем, допустим, с виной,
а с виной — не совсем это с мордой свиной:
это с тяжестью в сердце и с болью в душе,
что ни ночью, ни днем не проходят уже.

Прошлых жизней нам помнить, увы, не дано,
мы не помним то зло, что чинили давно,
и не помним ту грязь, по которой мы шли,
как валялись в помоях в какой-то глуши.

Мы не помним ту кровь, что лилась, как вода,
как невинных губили, шутя, без суда,
доводили святых до сумы и тюрьмы
и сирот обирали... И это все мы.

Мы не помним разгулы бесовских страстей,
что нас поедом ели до самых костей.
Нашу память подтерли, подпудрили грязь,
чтоб в разумное верили здесь и сейчас.

Чтобы с легкой душой проживали года,
чтобы нас не гнобили грехи за тогда,
но когда в некий час все заботы умрут,
снова боль приползет и обхватит, как спрут.

Завизжим, завопим — то не мы, это ложь!
Только совесть стенаньям не верит ни в грош,
ибо совесть не знает забвенья в вине,
а вся истина кроется в прошлой вине.

Вот зачем одноразовым стал человек,
вот зачем одноразовым сделался век.
Мы пускаемся в похоть, разгулы и пляс,
развернись же, душа, ведь живем только раз!

В утешение райский придумали сад,
что сулит нам за праведность кучу услад.
Нас дурачит весельем хмельным Дионис,
чтобы боль заглушить, что висит как карниз.

О закройте нам веки, сотрите под ноль
нашу память о прошлом, в которой лишь боль!
Можно петь, можно пить безутешно, как Ной,
лучше с мордой свиной, чем с извечной виной.

РАЗВИВАЯ ГЕРАКЛИТА

И когда я взглянул в потемневшую высь,
где в привычном порядке светила сошлись,
я подумал: «Без солнца, должно быть,
мы не знали бы дня, знали только бы ночь,
и тогда бы и ангел не смог нам помочь
про божественный свет пустословить».

Если б звезды галактики в кучу собрать,
и они не смогли бы так ярко сиять,
и они не размыли бы ночи.
Ведь ночные светила нам жизнь не дают,
они только мерцают и смутно зовут
в неизвестность, как девичьи очи.

В том и суть, что не виденье звезд — не беда,
а без солнца не быть никому никогда,
ни живым, ни отжившим отчасти.
Только солнце способно нас к жизни будить
и грядущим дурачить, и счастьем манить,
даже если не знаешь, в чем счастье.

Но рассудок сомненьем убить норовит —
закрывает нам солнце космический вид,
ослепляя пылающей бездной.
В результате не видим мы горних высот —
над макушкой все тот же обманчивый свод,
изумительный, но бесполезный.

КУДА ВАЖНЕЙ

За столько лет космических полетов
на всяких штучках-дрючках за пределы
планеты нашей мы не получили
ни райских гущ, ни горних полусфер.
Нам не дала космическая эра
ни счастья, ни ума, ни просветленья,
ни пониманья истин, ни движенья
в миры, где не властитель Люцифер.

Добрей не стали от того, что небо
теперь дырявим мы, но идеала
по-прежнему не видим, пребывая
в невежестве и смутах под луной.
Нас космос встретил холодно. И это
вполне логично. Ведь куда ж, ей Богу,
с червячной нашей лезем мы моралью,
над птицами взлетев — не над собой.

Не пробудило, словом, в нас пространство
ни Божьих искр, ни ангельских порывов,
лишь голливудских расплодив уродов,
привыкших в скудоумье пребывать.
Космический корабль отнюдь не средство
в сближенье с Богом, и не есть лечение
от слепоты. Ведь научиться видеть
куда важней, пожалуй, чем летать.

В БИБЛИОТЕКЕ

Мне никогда не скучно среди книг —
мне скучно средь людей.
Лишь в книгах я ловлю волшебный миг
из бытия идей.

Прекрасный миг, который впору бы
остановить навек.
Но мы, увы, забот своих рабы
без мысли на побег.

Какое счастье трогать и листать
потертые тома.
Ты по уму их можешь выбирать,
людей же — шлет судьба.

БОМЖ

У меня нет жилища на этой земле —
ни норы, ни дупла... Только клочатся
надо мной облака. Я как странник во мгле
и не знаю, когда это кончится?

На бульваре огни, и столичная рать
все бурлит, как кипящее олово.
Мне б укрыться в подвал,
мне б залечь на кровать,
и ладони закинуть за голову.

Подойдет и чердак, только нет чердака,
конура и любая фиговина!
Все в трудах, все горбачусь. Проходят века,
но всегда перед всеми виновен я.

Перед бывшей женой, перед нынешней той,
перед спятившим работодателем,
перед ЖЕУ, детьми... Помнят только за мной
лишь долги, называя предателем.

Я не ел вкусной пищи, костюмов не шил,
на курортах не жмурился сладостно.
А была ведь халупа, где жил — не тужил,
да и ту отобрали безжалостно.

Если завтра война, если завтра потоп,
мне, по сути, терять уже нечего.
Усмежнусь, ничего. Все когда-то пройдет,
всем два метра в земле обеспечено.

ВЕРЛИБР

Один общий мир у бодрствующих,
и у каждого свой собственный у спящих, —
так утверждал Гераклит,
ни словечком не обмолвившись о скорбящих.

Но именно миром скорбящим
служители культа
называют тишайший мир мертвых.

Но скорбят ли покойники о жизни,
в которой почили
от онкологий и вирусов, диабетов, инсультов,
от ножей в притонах,
и от пьянства на виллах,
или от неизбежности, затаившейся в бомбах,
или просто от дряхлости,
в которой души, как в катакомбах?

Судя по тому, что покойники
не пытаются объединиться в общество,
не сочиняют законов, не создают общий дом
и не стремятся к какому-либо новшеству,
а преспокойно пребывают в гробах,
и на роскошных надгробиях
по большей части не настаивают,
мир, в котором они пребывают,
вполне их устраивает.

А может быть их собственный мир,
который сформировался

в результате бодрствования,
и является истинной средой обитания,
поскольку господство индивидуальности
даже в общем мире
всегда заслоняет общественное,
как бы это
не маскировалось непосредственно
высокопарными словами
о всеобщем братстве,
патриотизме, совести
или мыслями о государстве.

Иначе говоря, покойник
пожинает условности
той самой общественной жизни,
в которой бодрствовал,
и живет в своем мире по тем самым законам,
над которыми, будучи живым, юродствовал,
потому что только в мире бодрствующих
можно лгать и лукавить,
совершать преступления
во имя обретения власти и благ,
но в своем собственном —
невозможно никак.
Во-первых, потому,
что самого себя не обманешь,
не обворуешь, не убьешь, как бы ты не блеял,
во-вторых, земные блага в мире мертвых
никакой ценности не имеют.

ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК

Когда-то, помнишь, мы плутали
с тобой по ветреной Москве,
стихами встречных осыпали,
тонув то в лужах, то в листве.
Нам чувства вечными казались
при свете звезд и встречных фар,
и локотки у нас касались,
и падал свет на тротуар.

С тех пор, как жизнь нас разлучила,
я разлюбил в ночи гулять.
Стихи свои пишу в полсилы —
их стало некому читать.
Теперь я вечно пребываю
в печали, и в мирских грехах.
На мир фонарный уповаю,
что был замешан на стихах.

И тешусь тем, что обвенчали
с тобой ночные фонари.
Ты утоли мои печали,
когда мы встретимся в дали —
в чужих мирах,
 в чужих пространствах,
куда допущен будет всяк.
Стихи нам будут в тех убранствах
опознавательный наш знак.

ТАМ ЖИЛИ МУЗЫ

Античность мне милей, чем современность —
там жили музы, и мирская бречность
не так давила глыбой на мозги.
Герой там не был царским лизоблюдом,
и похваляться тупостью и блудом
никто не смел, урвав свои куски.

Там презирали служащих богатству,
ценили ум, отвагу, панибратство
и мысли, что рождали мудрецы.
Там не могли достигнуть высшей власти
предатели и воры, как и в части
военной славы трусы и лжецы.

Любили краткость там и точность слога,
цня в себе достоинства от Бога,
и презирая правду от кротов.
Там не велись дебаты по вопросу
«как жить», к примеру, скажем, на Родосе,
«а для каких произрастать садов».

ГУСЕНИЦА

Она жует, всегда жует,
да вяло шелестит листвою.
Она готовится и ждет,
как станет бабочкой весной.
Тогда с галантной простотой
начнет витать и трепетать,
и луг нездешней красотой,
порхая, станет ослеплять.
В благоуханье всех цветов
она вольется, как волна,
и стрекот луговых хитов
заполнит всю ее сполна.
И свет совсем иных отчизн
пронзит под легкость бытия.
Прощай, жирующая жизнь
и в листьях сонная возня!
Блажен воистину тот час,
способный в небе удержать!
Но это позже, а сейчас
ей нужно жрать и жрать, и жрать.
Так мы, не замечая весь
бедлам, присущий жадным ртам,
себя не видим жрущих здесь,
но грезим бабочками там.
И мы, как гусеницы, ртом
сей мир стремимся постигать.
Неужто, чтоб порхать потом,
нам нужно жрать и жрать, и жрать?

БОЮСЬ РАЗОЧАРОВАТЬСЯ

Люблю я город Мелекесс —
дыра по сути, и название
нелепей некуда. Однако
там светоч мед на сердце льет.
Там чувство первое мое
томится, словно в наказание,
и тайна за семью замками
не рассекреченная ждет.

Я не испытывал сильней
любви, чем к той,
 что в пятом классе
снесла мне крышу, в одночасье
веселье юности убив.
С тех пор, где б ни был я, куда б
ни убегал, в леса и поймы,
ее одну я видел только,
среди волн речных и сонных ив.

О чувство первое мое,
ты не подвластно описанью —
томленье, робость, трепетанье,
случайный взгляд и — мне капут!
И страх щенячий пацана,
что эту тайну, рухнув с дуба,
раскусят и опошлят грубо,
и раззвонят, и осмеют.

Своей любви я не раскрыл,
ни другу первому, ни боже

кому еще, и не без дрожи
за парту с ней пытался сесть.
Четыре года, целый век,
ее любил я безответно,
эпохи плали незаметно,
уж детства нет, а чувство есть.

Уж школы нет, ее снесли,
а я брожу здесь ненароком,
с надеждой, что каким-то боком
ее увижу наяву.
А вдруг и вправду
с ней столкнусь,
а вдруг, взглянув, разочаруюсь!
Как загрущу, поблекну, сдуюсь,
как скучно век свой доживу.

НЕ СМЕШИТЕ ЧЕЛОВЕКА

Человеку нужен Бог?
Не смешите, человека!
Никакой нужды особой
в Боге нет, как не верти.
Ну, какой, скажите, Бог,
если жгут глаза без меры,
если жизнь хмельнее веры,
если счастье впереди!

Если грудь полна любви,
если в сердце только звезды,
разве помнишь о Всевышнем,
из космической дали?
Только тело и огонь,
страсть, вздувающая жилы!
Между вечностью и пылью
выбираем жизнь в пыли.

Выбираем жизнь, поправ
эфемерное бессмертье!
Выбираем небо в стразах,
и троянский ход с конем!
Человеку нужен Бог?
Да помилуйте, ей Богу!
Лишь когда накатят беды
вспоминаем мы о Нем.

И тогда приходим в храм,
и к иконам припадаем,

как обиженные дети
припадают к мамам, чтоб
их утешили бедняг,
а потом, всплакнув немного,
во дворы опять несемся,
где соблазны, что ни шаг.

По большому счету мы
соблазняемся охотно,
вожделенья ставя выше
всех космических чертог.
Человеку нужен Бог?
Не смешите человека!
Только сам себе он нужен,
сам себе и Бог, и лох.

ИСПЫТАНИЕ БАБОЙ

Послушай, тетя, ведь недаром
ты соблазняла дядю с жаром,
потом отпыхнув от угара,
о нем забыла навсегда.

А он, изрядно погрузневший,
и очень сильно погрузневший,
угрюмый и с утра и не евши
глотает водку из горла.

И собутыльникам он в муке
про баб талдычит по науке,
такие вот бывают суки —
дают и замуж не идут.
Чужой пример — слону дробина.
Пойми же, пьяная дубина —
не постоянна секс-бомбина,
а постоянен только кнут.

На это дело, сверху глядя,
вздыхнут с укором:

— Что ж ты, дядя,
завшивел так, обиды ради,
на баб повесив всех собак.
А если рок для назиданья
пошлет почище испытанье?
Что станется с тобою, дядя?
Всего лишь баба! Эх, слабак!

ПРОБУЖДЕНИЕ

Уж не мыслю я пространно,
уж не грежу я подлунно —
это более чем странно,
это менее чем струнно...

Снова выдавлен, как тюбик,
снова туча, будто гробик,
а закат играет в рубик,
а рассвет целует в лобик.

Те же нивы и разливы,
те же звезды, и немало,
только где они, порывы,
и все то, что потрясало?

Все проходит постепенно,
страсти, чувства, убежденья,
неизменно и нетленно
приближая пробужденье.

Чем я жил — уже не важно,
сон — журавль, а явь — синица.
Умирать совсем не страшно,
страшно в сон не возвратиться.

ИГРА В ПРЯТКИ

Печалью залит этот свет,
и грустью залит он.
Но я любви оставляю след,
пусть даже — это сон.
Ведь грусть с печалью — не беда,
беда — где не горишь.
Что свет и тьма тебе, когда
ты беспробудно спишь.
Когда-нибудь и где-нибудь
меня разбудят и
полюбопытствуют про суть
в мирах, где нет любви.

— Ты славно спрятался, но мы
нашли тебя, дружок!
Как без любви там, Расскажи,
повергни ближних в шок!

— Вы ошибаетесь! — вскричу. —
Любовь, она везде —
во сне ли гредишь, наяву,
в блаженстве ли, в беде.
Вживусь в любые се ля ви,
где буду я влюблен,
ведь сон не там, где нет любви
а где ей обделен.

Взорвется хохотом народ:

— Да полно городить!
Теперь мы прячемся! Черед
пришел тебе водить.

ГАРЬ ДА ПЕПЕЛ

В этом доме давно я уже не бывал,
в этом доме мне больно бывать.
А бывало, что тут ночевал и дневал —
меня помнят сундук и кровать,

и тяжелый комод, и скрипучая дверь,
и в лепнинах облупленный свод.
Жили бабушка с дедушкой здесь, а теперь
моя мама, к несчастью, живет.

Это лучшее было когда-то из мест —
мой единственный в детстве приют.
А теперь здесь тоска несусветная ест,
ночью крысы картошку грызут.

И ругается мама: «Топи — не топи
эту чертову печь — все равно
в доме холод собачий, как будто в степи,
а не в доме, и так уж давно».

Не топи, моя мама, не стоит труда!
О тебе ли не знать, что почем?
Ведь из этого дома ушла навсегда
сама жизнь, ну а печь ни при чем.

Сколько дров ни спали, здесь не будет, увы,
так тепло и уютно, как встарь.
Все уходит в трубу, и помимо трубы,
оставляя лишь пепел и гарь.

Все ветшает, плошает, гниет и притом
пороастает извечным быльем.
Только часто во сне вижу прежний я дом
с развеселыми предками в нем.

То ли в рай утянули они его, то
ли он сам в те пространства ушел?
Без тепла человеческого стены ничто —
гарь, да пепел, муляж муляжом.

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

В конце концов и красный слог
не вечен в небесах.
Его засыплет тот песок,
струящийся в часах.

Все устает когда-нибудь,
сбавляет темп, а он
бежит, рождая в мыслях муть
и хороня канон.

Еще вчера не знал тоски,
сегодня — все не вновь:
не приливает кровь в виски
и не зовет любовь.

Брожу в унылом неглиже,
но стоит хоть глазком
взглянуть назад, а там уже
давно все под песком.

Да вправду ль был я там, лепя
из строк эфирный дом?
Но лишь сначала сквозь тебя
проходит жизнь. Потом

сквозь мысли, вехи и тома,
сквозь пыль веков, что вне
тебя, и даль уже нема,
и сам ты в стороне.

Еще ты плоть, но не оплот
земных своих планид.
И вот уже нет тебя, а свод
по-прежнему стоит.

И был ли смысл? Нам не дано
узнать в приливе сил.
Блажен, кто помнит для чего
сей мир он посетил.

Блажен, кто видит что-то сквозь
песок из-под песка.
В конце концов и время — гость,
и вечна лишь тоска.

САНИТАР

Он хотел петь песни, а пришлось
раненых вытаскивать из боя —
ползать от отбоя до отбоя,
ну а с пеньем как-то не срослось.

Уходя за ленту, думал он,
петь бойцам о чем-то очень светлом,
но война — не грезы о заветном,
не гитар лирический трезвон.

Кровь и грязь, и трупный смрад в полях,
взрывы, вопли, чьи-то ноги в небе
и тела кровавые в укрепе,
и скулящий о пощаде лях.

Не до песен! Не до куража!
В этом пекле, в этой тьме угарной
доползти бы с сумкой санитарной
до бойца, а там — до блиндажа.

Впору бы завывать, но только страх
скулы свел. Враги от злобы воют.
Минометы бьют, и арты кроют,
в небе дроны, чернозем в глазах.

Вот в окоп десятый втащен. Вот,
кажется, очнулся, — бел от боли.
А наш медик вновь ползет по полю —
гром, разрыв... и свет уже не тот...

Так и сгинул, ничего не спев,
сослуживцам с простотой сердечной.
Может там, за белой дымкой Млечной,
пенье задушевное — не блеф?

Может там, в далеких небесах
с песней у него верней сложилось?
Здесь же проверяется на вшивость
род людской, чтоб взвесить на весах.

КОГДА ЕВРОПУ СМОЕТ

Не презирай, надменный европеец,
туземцев диких в джунглях и пустынях.
Не поддавайся мелочной гордыни
под тяжестью земных своих грехов!
Ведь сытость далеко еще не признак
прозрения. Презрение же — признак
гниения, которому подвержен
весь род людской от низа до верхов.

О как ты любишь наслаждаться пылью,
обожеествлять развалины и глыбы,
и в черепках былых цивилизаций
нащупывать инопланетный свет.
Каменья эти, кости и могилы
дороже всех сокровищ, ибо в них-то
и пребывают тайны нашей жизни,
как, впрочем, и разгадки наших бед.

О, археолог, рыщущий по свету
в надежде отыскать останки мифов —
свидетельство великого бывшего
в ничтожном этом нашем бытии,
не проклинай судьбу, когда в насмешку
вдруг вместо мифов в джунглях тебе явит
туземцев, неопознанных доселе
в миру на историческом пути.

То не насмешка, ревностный искатель —
намек небес, что прошлого фрагменты

высвечивать из тьмы — неблагодарный
и глупый труд, пока бредешь во тьме.
В грядущее всмотришься! В туземцев этих!
В них свет иных реалий! И за ними
грядущее. Когда Европу смоем,
они царями будут на Земле.

ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР

Суета Приморского бульвара,
тихо льется музыка из бара,
над макушкой как всегда беспутный
звездный путь, а ниже — корабли.
Листьями усыпан чей-то «опель» —
значит осень. Значит Севастополь
в час вечерний, теплый и уютный
зажигает белые огни.

В бухте тишина. В Приморском парке
детский визг, и звон гитарный в арке,
запах кофе, ароматы грога,
шелест волн, бегущих на бетон.
Здесь цветы влюбленные роняют,
малыши на роликах гоняют,
молодежь колбасится от рока,
а вдали сияет бастион.

Всюду жизнь, веселье, смех и танцы,
в пляс пускаясь, здесь теряют сланцы,
моряки красавиц опьяняют,
и мурлычет в унисон волна.
Под баян в медалях ветераны
все поют про море и туманы,
и о чем-то давнем вспоминают,
и ночная бухта звезд полна.

А на рейде, что под речкой Млечной,
охраняют наш покой извечный,

с номерами на стальных обшивках
корабли, что в странствия зовут.
Оттого спокойно жить на свете,
потому что (знают даже дети)
пацаны в суровых бескозырьках
день и ночь дежурство здесь несут.

СЕВАСТОПОЛЬ

Ночь над бухтой, звезды... Лунный лучик
в душном доме спит на потолке.
Стол, свеча, угрюмый подпоручик,
что-то пишет в мятном дневнике.

Трупный запах, гарь, в телегах стоны —
это братки мрут под каланчой.
Завтра новый штурм. На бастионы
враг ползет красной саранчой.

Город спит. Узор на небе вышит.
«Как не скорбно мне осознавать,
пишет офицер, — но смерть уж дышит
мне в лицо и завтра умирать.

За царя, за веру... к черту веру!
Утром ждет разбитый бастион,
Шквал огня, вонь пороха и серы,
и усыпанный телами склон.

Взрывы, вопли, мысли о жестоком,
горы трупов, гром, оглохший слух
— все смешается под Божьим оком:
храбрость, трусость, злоба, стойкий дух.

Человек, на что в своем беспутстве
перед Богом будешь уповать?
Лишь в одном ты преуспел искусстве,
и искусство это — убивать».

Ночь прохладу льет за потный ворот,
полночь бьет, накатывает дрем.

«Не уверен, что удержим город.
Но уверен, с честью мы умрем».

Стол, свеча, затекший позвоночник.
Волны в бухте шепчутся с листвой.

— Спать, — шепнул угрюмый полуночник
и поставил подпись: «Лев Толстой».

В ВОЕНКОМАТЕ

Ребятишки гибнут на фронтах,
чтоб в тепле и сытости, ей богу,
я старел, спиваясь понемногу,
сожалея о пустых годах.

Чтоб под крымским солнцем на песке
я витал в мирах каких-то вышних,
и все грезил о новинках книжных,
из сети лишь зная о войне.

Ребятишки гибнут, все прокляв,
чтоб у телевизора в уюте,
пребывал я в этой сонной мути,
смерть благополучием поправ.

Ребятишки гибнут за отцов,
чтобы с умным видом маргиналы
грязно поносили генералов,
и за нерешительность — бойцов.

Чтобы охреневший либерал,
отвалившись на диване сыто,
крыл в хмелю, разбитый как корыто,
свой народ, который все просрал!

Звон экспертов, кривда кулаков,
медь фанфар, побед грядущих трубы!
А ребятки молча сжали зубы
и крошат под дронами врагов.

Сколько ж умирать еще за нас
они будут присно и отныне,
за снобизм элит и звезд гордыню,
за покой и равнодушие масс?

Вновь топчусь с тяжелой головой
я перед дверьми военкомата.
Уж дежурный посылает матом:
— Все, достал! Давай уже домой!

Возраст мой давно не призывной,
отчего же больно мне и стыдно,
что здесь так спокойно, а там гибло,
и ни бог, ни царь я, ни герой.

Ребятишки гибнут, чтоб я жить
мог безоблачно в своей отчизне.
А достоин ли такой я жизни?
Чем смогу за это отплатить?

ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Как же хаяли их, горемычных,
что росли

в девяностых бандитских,
словно это они растерзали
нашу Родину, армию, флот.
Словно это они учиняли
поножовщины и беспределы,
убивали, гребли, предавали,
и за быдло считали народ.

«Пофигисты, дебилы,
придурки!» —

так их в прессе

нещадно клеймили,
называли тупыми и злыми,
и потерянными для страны,
позабыв, как им ребра ломали
в темных улочках злобные урки,
как в кровавых соплях

приползали
после школы домой пацаны.

И никто защитить их не думал,
ни царьки, ни менты, ни герои,
ждали дядю в цилиндре, который
осчастливит воистину всех.

Он пришел этот дядя, но с целью
все пожечь, разбомбить

и разрушить.

Кто с готовностью встал
на защиту? —
Поколение потерянных тех.

Они первыми в военкоматы
добровольно явились, чтоб завтра
под обстрелами сгинуть во имя
тех, кто в детстве не смог
их спасти,
чтоб отныне их дети не знали
то, что сами они испытали.
«Пофигисты, дебилы,
придурки!» —
поколение героев, прости!

ЛИШЬ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Лишь во время войны открывается ясно,
кто рожден для холопства, а кто для свободы,
кто слюной только брызжет да лает напрасно,
а кто стойкость являет в любые невзгоды.

Кто готов прогибаться, разя перегаром,
сдать страну и семью, и все царство Господня,
кто бравитует громко боксерским ударом,
но бежал и забился как крыса сегодня.

Кто по жизни герой, а кто фарш для фаст-фуда,
кто кремень и гранит, а кто свист свиристели,
кто ничтожная тля, а кто глыба оттуда,
кто святой, а кто зверь в человеческом теле.

Кто на деле велик, и родимой отчиной
дорожит беспредельно, а кто — только шкурой.
Кто без лишнего пафоса встал на защиту,
а кто трусость скрывает под бравой натурой.

Но как только победой блеснет, на диванах
встрепенется планктон и проявится в ликах.
Сколько громких речей будет, возгласов пряных,
разудалых фанфар, сотрясений от криков!

И чиновничье воинство станет хвастливо
молотить себя в грудь, от величия тужась.
Но вернутся бойцы и без слов сиротливо
будут горькую пить, чтоб забыть этот ужас.

ПОЙДЕМ НА ВЕРАНДУ

Пойдем на веранду, гитару прихватим,
бокалы наполним, немного накатим,
впитаем прохладу под стрекот цикад,
вдохнем аромат нашей розы в закат.

Вечернюю свежесть почувствуем кожей,
сегодня мы живы, и завтра, дай боже,
проснемся, ракетный удар пережив,
чтоб встретить рассвет, на врагов наложив.

Пока тишина, и пока нет тревоги,
есть шанс тишиной насладиться, как боги.
Нет большего счастья в приморской глуши,
чем сесть на веранде с любимой в тиши.

Пока мы живем, будем радости множить.
Как много желающих нас уничтожить —
и подлый британец, и наглый пендос,
и мутный грузин, что с рождения бос.

И фин, ныне дикий, и чех странноватый,
убогий прибалт, и француз трусоватый,
и битый поляк, что не видит краёв,
и злобный хохол, что холопствует в рёв.

И немец, внутри затаивший обиду,
и турок, наш друг, но, скорее, для виду,
и швед, и бельгиец с брезгливой губой,
что янкам в угоду пойдут на убой.

Их всех наши предки крошили в котлету —
поэтому злобой и дышат. Но это
лишь частности. Главное, как не криви,
нам, русским, дано только право любви.

Пойдем на веранду, где розы скучают,
пусть наши бокалы рубином сверкают,
пусть вечер прохладу несет, как вчера.
Да будет любовь, остальное — мура!

ТА, РОКОВАЯ

Когда с раздраженьем бросаю в тебя
обидное что-то, как камешки в море,
я знаю, что в эту минуту на горе
готовит ответную боль мне судьба.

Ты сносишь безмолвно, как будто во сне,
и грубость мою, и мое недоверье.
Но если я в бешенстве хлопаю дверью,
то знаю — вернется все сторицей мне.

Расплата грядет, белозубо слепя,
с любовью в глазах и невинной улыбкой,
и талия будет безжалостно гибкой,
и бедра круты, как и месть за тебя.

О, явится та, роковая! На нить
нанижет рассудок и сердце изрубит,
блеснет и подразнит, но вряд ли полюбит:
она не любить ведь придет — отомстить.

И все те обиды, что вынесла ты,
уже на меня перейдут в назиданье
заоблачным душам, не знавшим страданья,
но знавшим болото земной суеты.

Ты молча умеешь обиды сносить,
и в том твоя сила, как это не вздорно.
Смогу ли я также снести их покорно
от той, роковой, что придет отомстить?

ПОВЕЗЛО

Говорят, невезенье — предтеча удачи,
нынче худо, а завтра все будет иначе,
а ему никогда не везло:
ни в любви до могилы, ни в страсти минутной,
ни в ребячестве сонном, ни в зрелости мутной —
все в какие-то лужи несло.

Только вечно не может же так продолжаться,
даже пули в копеечку все не ложатся,
хоть разок, но должно повести.
Пролетали года, что плели из мгновений
невеселую жизнь без страстей и волнений,
но подбадривал друг:
— Не грусти.

Не грусти! Еще будут и бабки, и бабы,
и нехилая тачка, и пошла неслабо,
и шальное веселье в груди,
и любовь свою встретишь, и недругов взбесишь,
и свершится все то, о чем с юности гредишь,
словом, все еще, брат, впереди!

Но однажды в туман, когда кутались в тоги
фонари и КаМАЗ пролетал по дороге,
под колеса его занесло.
Подошел постовой, осмотрел его тело,
вызвал группу экспертов:
— Готово уж дело, —
Без мучений сыграл! Повезло...

МОЙ ГАРЕМ

О, эта дама моего гарема
и эта дева, что звезда Гомера,
и та, с детьми, катящая коляску,
и та, с улыбкой блеклой на устах.
Я узнаю их в сутолоке серой.
О как же много стало в них печали!
А ведь они когда-то пребывали
в роскошном месте в сказочных садах.

Все это было на другой планете,
которую я вылепил из пыли,
влил океаны и дворцы воздвигнул,
разбил сады и насадил цветы.
Там девы были — краше не бывает,
я собирал их сам по всей вселенной,
чтоб мой гарем прославился как вечный
и славный дом любви и красоты.

Среди цветов, фонтанов, чистых храмов
там счастливы все были, и сиянье
рассветов и закатов дополняли
улыбки дев, глаза их и уста.
При виде них у путников смягчались
сердца и искалеченные души
в божественное что-то превращались,
ведь души лечит только красота.

Но час пробил, явился старец в нимбе
и произнес с укором:
— Все сияешь?

Блаженствуешь в кругу своих красавиц?
А мир внизу померк от темноты!
Повсюду злоба, грубость и лукавство,
и ближних поедание — как яство.
Мир потому и болен, что не видит
целительную силу красоты.

Я распустил гарем, дворцы разрушил...
Зачем они, когда своих прелестниц
я отпустил в угрюмый мир с надеждой,
что красотой они возвысят дух?
Теперь встречаю их таких усталых,
таких поблекших, вымотанных, вялых...
Я их спустил сюда, чтоб мир улучшить,
а мир безбожно превратил их в шлюх.

СВЕТИК

Прощай, мой Светик!

Впрочем, нет, не мой,
и вряд ли уже будешь. Скорый поезд
тебя в Москву несет. Меня домой
автомобиль мой спятивший уносит.
Прощай!

Есть скромный повод погрустить,
и пару виршей под бокал втопить.

По морю, помнишь, плавали в никуда
совсем нагими, и светились руки,
и как пугалась мило ты, когда
твоя рука с моей в жестокой муке
соприкасалась. (Вот же, твою мать!
Зачем пообещал не приставать?)

И было звезд дыханье, тишины
и шелест ночи из морской утробы.
В ту ночь, ты помнишь, не было луны —
сгорела, вероятно, от стыдобы.
Когда на берег вышли, наготу
стыдливо ты прикрыла, но не ту.

Не знала ты, что в зной и холода
влюбленный наготы не наблюдает.
На сердце у него вся нагота,
а то, что вне — бесследно исчезает.
Клин клином все решается, поди,
но я оставляю этот клин в груди.

Прощай, мой Светик! Вот уже и глюк
с заплывом стал уже какой-то бледный.
И если грусть накатит как-то вдруг,
то, безусловно, будет только светлой.
Поскольку имя Света ну никак
не может сердца погрузить во мрак.

МОЯ ГИТАРА

Вот она, душа моя! Я это
понял лишь, из Крыма возвратившись
в дом свой Подмосковный, где томилась
без меня родимая гитара.

Вот изгиб забытый, гриф и струны,
по которым пальцы стосковались,
без которых сердце истаскалось,
и душа потухла, как сигара.

Столько дней бессмысленной разлуки,
винных мук и пляжных возлежаний,
обожаний моря, скал и чаек —
это ли извечно нас питало?
Что-то пелось, что-то сочинялось,
на чужих каких-то инструментах —
что-то слух капризный ублажало,
а под телом — нет, не трепетало.

Только как бы ни кричали чайки,
только как бы ни вздымались волны,
лишь когда с гитарой я сливался,
слышал, как душа моя звучала.
Так вернусь когда-нибудь на небо
и сольюсь с собою настоящим,
и скажу себе:

— Теперь я дома,
здесь моя душа берет начало.

МОТЫЛЕК

Где тот кудрявый мальчик-мотылек,
что бегал по Ульяновску счастливый,
нырял в Свягу под роскошной ивой,
и зарывался с головой в песок.

И в драных шортах бегал в детский парк,
где прыгал как десантник с каруселей
и помирал от смеха и веселий,
вгоняя теток-контролерш в инфаркт.

А дальше — корт, друзья ломают твист,
и мелюзга визжит, носясь по кругу,
и хитрый шкет, подмигивая другу,
пинает мяч:

— Лови же смерть, фашист!

— А за фашиста дам! — и в тот же миг,
сцепившись как собаки, на асфальте
катаются мальчишки, и пенальти
бьет под шумок какой-то озорник.

Однако полдень. Время убежать
к бабуле, к пирожкам, блинам, сгущенке.
Песок в штанах, в сандалиях, в печенках,
а скорость в пятках, надо полагать.

Но враг не дремлет, подступает зло —
бежим, кибальчиши, вооружаться!
Пришла пора с врагами разобраться —
как много во дворы их принесло.

И расстреляв всю эту вражью рать,
мальчишка с чувством выполненного долга
садился с книгой на крыльцо надолго,
чтоб все пути-дороги перебрать.

А вечером с работы мать придет,
накормит супом, телевизор включит,
и голубой экран уют излучит
и в добрый мир с улыбкой поведет.

Где тот кудрявый мальчик-мотылек?
Должно быть, в добром мире и остался.
Его прообраз так намотылся,
что путь давно не добр и не далек.

НАДЕ

Выхожу один я на веранду —
виноград свисает тяжело,
и строчат цикады, и лаванда
источает пьяное фуфло.
Уж давно не мучаюсь похмельем,
ибо вечно пьян я, как гусар.
В воздухе покой разлит с бездельем,
хоть и дроны бьют — но пасаран!
Уж инжир созрел давно, но как-то
без тебя мне в лом его собрать.
Как-то все не в радость, и де-факто
мне в гусара не с кем поиграть.
Некому достать варенье к чаю,
не с кем мне пуститься в переплет.
Ноутбук бессмысленно включаю,
и стихи кропаю, если прет.
Я хожу на пляж, ныряю в море,
жарю спину, от жары кипя,
ни забот не ведаю, не горя,
пью вино, а в целом жду тебя.
И гляжу на звезды одиноко,
в далях млечных не видать ни зги.
Поразмыслить есть о чем глубоко,
пораскинуть, так сказать, мозги.
Устыдиться в праздности и лени,
позабыв, что я в душе аскет.
В частности прекрасно все! А в целом
жду тебя, как чукча ждет рассвет.

УЧКУЕВСКИЙ ПЛЯЖ

Ослепляет и жжет, и печет, и парит,
но лежим терпеливо, как ламы.
Да гори же все к черту! И точно горит
мой затылок под мокрой панамой.

Раскаленный песок — словно в почках у Ра,
а лазурная синь — как в нирване.
Волны пенятся, бьют... И визжит детвора,
рассекая на желтом банане.

Верещат катера, гидроциклы снуют,
зарываются в волны бакланы.
В карты режутся дядьки, а тетки жуют,
а на небе парят дельтапланы.

В кипяток превращается воздух морской,
соль на мокрых блестит волосинках.
И спят грациозной своей наготой
загорелые девушки в стрингах.

Чайки к лодкам бросаются, чтобы отжать
малость рыбы, что люди поймали.
Исккупаться сходить, иль еще полежать?
Еще чайки на нас не наклали.

И не плюнула в душу еще ни одна
длинноножка из райского сада.
Но меня ты толкаешь:
— Похоже, хана!
Мы дымимся! Какай досада...

Пот струится со лба и блестит над губой,
и своим убивает экстрактом.
Обгоревший стою перед красной тобой,
как спецкор перед жареным фактом.

Мы уходим. Назад оглянулся, вскипел
и подумал, как будто опешил:
«Как давно я в прохладной тиши не сидел
и лапши романтической не вешал».

НА ПАТРИАРШИХ

Время к полночи. Движенья
никакого в небесах.
Пруд. За прудом мельтешенье —
от машин рябит в глазах.

Там Садовая огнями
разлилась, а здесь темно.
Мы на лавочке. Над нами
ночь разлита, как вино.

Пруд без дна, начало мая,
звезд мерцанье, будто нас
нет на свете. Ты иная,
я и сам иной сейчас.

Нет, не лучше, и не хуже —
просто сгинули мы прочь!
Что лепечешь все о муже?
Посмотри, какая ночь?

Тишина, не видно люда,
лишь с Садовой слышен гам.
Так усопшие оттуда
слышат жизнь, что где-то там.

От крушенья до круженья
только шаг — и вновь летишь!
Что же ты, мой ангел Женя,
не ко времени грустишь?

Меж ветвей луна застряла.
Что печалится о том,
что еще не потеряла,
что еще терять потом.

Жизнь проходит и низводит
наше злато до гроша.
Все куда-нибудь уходит,
а тем более — мужья.

Мир прекрасный, мир жестокий,
смысла в счастье нет, прости.
Смысл — огонь свой синеокий
через время пронести,

через время, пересуды,
через бремя суеты.
Стоит выйти нам отсюда,
и потеряны следы.

КАК НА ГРЕХ

А еще обожал он спускаться в метро
и бродить в переходах, вживаясь в нутро
озабоченной жизни подземки.
Никуда не спешил, никуда не бежал,
снисходительно слушал, как мило лажал
музыкант у мозаичной стенки.

Одинокая шляпа, и в ней ни рубля,
синтезатор дешевый, но пенье не для
пробегающих толп, как известно.
И у нашего друга мелькало в глазах
соучастие, как у кукушки в часах,
потому что он сам был маэстро.

На губах выступала улыбка «зер гуд».
Дома клавиши, ноты и каторжный труд,
и пюпитр, измочаленный в граппу.
Дома тяжело, а здесь отдыхала душа,
но смущало, что нет у него ни гроша
и подать ему нечего в шляпу.

— Ничего, — сам себе говорил он, — когда
стану я знаменит и богат как звезда,
обойду я их всех, музыкантов,
и наполню их шляпы купюрами, пусть
хоть на время откатит их вечная грусть
из-за тягот, присущих таланту.

Все сбылось, и он стал знаменит и богат,
и любим, и востребован, и нарасхват,

и купил себе джип «Гелендваген».
И уже никогда не спускался в метро,
и на светских тусовках с бокалом «бордо»
думал только, как он уникален.

Лишь под вечер, в какой-то непрошенный миг,
вспоминал он забытых в метро горемык,
их унынье и горечь в вокале.
«А была ведь заначка! — сверлило внутри, —
но она полагалась на черные дни,
а они, как на грех, не настали».

МЕЖДУ КОЛЕН

В темном метро электричка летит,
женщина дремлет по имени эн.
Вниз лепестками небрежно висит
роза, зажата между колен.
Раннее утро, пустынный вагон,
смена окончена, сон-полисмен
на смерть вцепился, поставив на кон
ставку, зажатую между колен.
Сумка в руках, два пакета, рюкзак,
сонные кудри колышет травой.
Все как обычно, но вот странный знак —
роза, висящая вниз головой.
Дома ждут дети, их нужно кормить,
в школу вести, и уборку начать...
«Разве поспишь? Ведь припрётся, как пить,
бывший супругник права покачать».
Веки слипаются. Грубый сигнал
дал машинист и утих, как почил.
«Как про день ангела зам разузнал? —
Розу при всех, не стесняясь, всучил.
Тоже мне рыцарь! А если, а вдруг
глаз положил?», — улыбнулась во сне
женщина, все озаряя вокруг,
щеку пристроив к дрожащей стене.
Поезд несется, в заботы несет,
в быт и рутину, в обыденность, в тлен.
Только вот роза, она упадет
или удержится между колен?

Содержание

ОСОБЕННОСТИ АБСОЛЮТА	3
ГЛУПЕЦ И МУДРЕЦ	4
МЫСЛИ В НОЧЬ	5
ВО ЛЖИ	6
ЧААДАЕВУ	8
НЕ СОГЛАСЕН	9
СДЕЛКА	10
НАМЕРЕНИЕ	11
ДУША	12
ДВЕНАДЦАТОЕ СЕНТЯБРЯ	13
ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ	14
ГОДЫ	16
НАСЛЕДСТВО	17
СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ	18
КВАРТИРНАЯ ПЫЛЬ	19
ТЕНИ	20
ТЕЛО	22
ПОДРАЖАНИЕ ЦВЕТАЕВОЙ	23
КАФАВИСУ	25
ОТЪЕЗД	26
ВАНИНСКИЙ ПОРТ	27
ПОДРАЖИНИЕ ЛЕРМОНТОВУ	28
ВАВИЛОНСКАЯ БЛУДНИЦА	29
НЕИЗВЕСТНЫЙ ЗВОНОК	31
ОДИНОЧЕСТВО	32
НА МАРАСЕЙКЕ	33
С ИЗВЕЧНОЙ ВИНОЙ	35
РАЗВИВАЯ ГЕРАКЛИТА	37
КУДА ВАЖНЕЙ	38
В БИБЛИОТЕКЕ	39

БОМЖ	40
ВЕРЛИБР	41
ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК	43
ТАМ ЖИЛИ МУЗЫ	44
ГУСЕНИЦА	45
БОЮСЬ РАЗОЧАРОВАТЬСЯ	46
НЕ СМЕШИТЕ ЧЕЛОВЕКА	48
ИСПЫТАНИЕ БАБОЙ	50
ПРОБУЖДЕНИЕ	51
ИГРА В ПРЯТКИ	52
ГАРЬ ДА ПЕПЕЛ	53
ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ	55
САНИТАР	57
КОГДА ЕВРОПУ СМОЕТ	59
ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР	61
СЕВАСТОПОЛЬ	63
В ВОЕНКОМАТЕ	65
ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ	67
ЛИШЬ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ	69
ПОЙДЕМ НА ВЕРАНДУ	70
ТА РОКОВАЯ	72
ПОВЕЗЛО	73
МОЙ ГАРЕМ	74
СВЕТИК	76
МОЯ ГИТАРА	78
МОТЫЛЕК	79
НАДЕ	81
УЧКУЕВСКИЙ ПЛЯЖ	82
НА ПАТРИАРШАХ	84
КАК НА ГРЕХ	86
МЕЖДУ КОЛЕН	88